

Предо мною горка журналовъ съ разно-
цѣтными обложками и однообразный стрѣны-
кивъ, тусклый содержаніеъ. Вотъ „Новое
Слово“, не спроста, видно, названо оно „во-
иниъ“, и въ будущемъ, вѣрю, будетъ въ пѣвъ
что нибудь новое; но теперь я нашлъ одно
старое и даже совершенно старенькія слова „Изъ
Записокъ“ Н. В. Шадлунова. Какъ не лю-
бить, какъ не уважать имени нашего те-
стельа, уважаю, уваго, къ несчастію почва-
шаго трушеника-публициста? Но я люблю,
я уважаю не могу сдѣлать интереснымъ
этого стрелка „изъ записокъ“. Кому, кромѣ
самого дорогого покровика, могла быть инте-
ресна записка глуушета, каковыя въ уста-
вахъ казеннаго К. и матрона о алиментъ на
него глѣ въ вѣрѣ, которые казались слабости
и изскажались добродѣтели въ вѣрѣ по-
казательна дѣтѣ. Матрона К. была са-
мымъ гурдамымъ ребенкомъ и казенна-мат-
ронина, а потому всѣ вѣрны и добродѣтели
его были устроены и выкурены и могли трѣ-
бать только разительное сердце, способное
возвѣстать что-ли казенна со вѣрѣ и ка-

С. 2.

ного ребенка. И не удивляясь, что для маленького К. были заведены журналы для мушкетеров и доблестей его — родительскому сердцу все близко, — но, право, содержание этих журналов могло интересовать только писавшего, да того, о ком писалось в них. Я знаю, что история воспитания умным человеком ребенка пылкого, своенравного и дорвавшегося, другими словами: история борьбы разумной воли с дикими порывами детской, бурной и богатой натуры, — может представлять даже глубокий интерес... Но маленький К. был по-своему теленочек и, как таковой, отя и задирали иногда хвостик и выбрыкивали ножками, но сейчас же покрыв и жалбно «искал», чуть вставала перед ним ужасная перспектива записи в журнал глупостей. Радостно и боязно быть отцом огненного ребенка. И можно радоваться, что к чаю зрелища, нить которую доводилось Н. В., не прибивалась отравы боязни за участь дорогого сердцу ребенка: такая дѣти головой стѣи не прошибают. Можно быть уверенным, что маленький К. вырос в большого и влиятельного К.; но эти отрывки «из записки» могли бы не выходить за границы семейного круга читателей.

Къ старым же словам нужно отсылать и рассказ г. Быстренникова «Учитель». Но что сказать о нем? Чистенько, грамотно, безвредно. Замѣтилъ, что дѣйствіе происходило на «окрепѣ» дороги... и думаю, что в печати, безъ ущерба, могло бы и сойти не происходить.

Къ категории произведений, съ которыми можно, хотя и трудно, мириться въ виду благивающей автором, должно отнести рассказ г. Ганейзера «Въ ожиданіи поезда» («Ск. Богатство», апрѣль). При полной грамотности и чистотѣ, художественного въ немъ на грошъ, не болѣе... Противоположеніе въ отношеніи къ жизни: грубо-эгоистичаго, въ лицъ пожилыхъ чревоугодниковъ, и прекраснo-альтруистическаго, въ лицахъ дѣтскихъ и юношескихъ, настолько грубо-дословно, въразительно-прочно и, конечно не въ пользу первыхъ персонажей, что самимъ автору не нуждаются въ поясненіи сего подобавляя заглавію новѣсти, вродъ «се левъ, а не собака». Тоска-то какая смелая беретъ отъ такихъ упражненій пера.

Въ майской книгѣ «Русскаго Богатства» окончился, наконецъ, записки Л. Мелана «Въ мірѣ отшельниковъ», окончилъ романъ К. Баранцевича — «Борисъ». Къ тому, что сказано мной раньше о произведеніи Лельникова, не могу прибавить ни слова: много читалъ и наблюдалъ г. Мелани въ запискахъ восточныхъ и безразсудныхъ, а записка его мной склала, но не могла. Художникъ не сдѣлалъ изъ нихъ прекрасную новѣ роу, десять разговоровъ, хотя бы вѣрнѣе написаны; сдѣлалъ, волею, волею возвестъ изобильное зданіе, въ которомъ угодно сто изъ того матеріала, который поглотилъ Л. Мелани въ одну нуту, отъ чего въ главахъ просто рветъ, а въ головѣ во не остается. Но все это можетъ сдѣлать только, а не Л. Мелани.

«Борисъ» К. Баранцевича посетилъ —

ный же характеръ, и произведение это съ такими же правами названо романомъ, съ какими причитъ толста и нѣсколько флаконъ красокъ можно назвать картиной: довольно яркая, но необоснованная сценки; довольно рельефныя, неожиданно являющіеся и неожиданно исчезающіе фигуры; довольно удачныя, а подчасъ неудачныя описанія, повѣствованія, связанныя другъ съ другомъ механически и прежде всего послѣдовательной повѣраціей главъ, — вотъ отличительныя черты этого произведенія, которое можетъ быть названо чѣмъ угодно, но только не романомъ.

Само собой разумѣется, что героемъ произведенія К. Баранцевича является не мужикъ Канитонъ, верескочившій отъ соли на подмостки увеселительнаго заведенія и въ качествѣ борца-силача прельстившій своей великолѣпной мускулатурой великолѣпную барыню, а та толпа, vulgus, чернь, которая, сама вырабатывая продукты рынка, сама же въ свою очередь создается и воспитывается этимъ же рынкомъ и мѣняетъ свой характеръ и нравственный обликъ съ развитіемъ и измѣненіемъ формъ труда, условій производства и средствъ своего пропитанія. Нарисовать эту толпу, эти кадры народныхъ массъ, которыя необходимо вырабатываются данными социальными строемъ общества, другими словами: дать видную, осязательную, понятную всякому, т. е. художественную оцѣнку тѣхъ факторовъ народного воспитанія, которые признаны въ данный моментъ экономического развитія страны нормальными, — задача серьезная и достойная пера великаго мастера. Но задать задачу — еще не значитъ разрѣшить ее. И си-ница обѣщала море зажечь, да не зажгла, вѣдь. Какъ художественное произведение — «Борисъ» — пусто мѣсто; какъ сюжетъ для художественнаго произведенія, которое напечатать, очевидно, не К. Баранцевичъ — это солидная вещь.

Въ той же книгѣ «Русскаго Богатства» (за май мѣсяцъ) есть «Маленькіе рассказы про маленькіхъ людей» П. Хотмыскаго. Маленькіе рассказы, а, право, съ большимъ удовольствіемъ читаются они среди произведеній большихъ и скучныхъ. Просто, тепло и любовно написаны эти рассказы, особенно первый — «Гришка»; второй рассказъ — «Добрычъ» — значительно слабѣе. Я не помню что-то имени П. Хотмыскаго и никакъ не могу судить о талантѣ его по такимъ маленькимъ произведеніямъ его пера, но что чувствительно художника не чужды г. Хотмыскаго — для меня это не подлежитъ сомнѣнію. Иное дѣло, какая цѣна этимъ чувствамъ, инстинктамъ — это вопросъ будущаго: гг. Мелани, Мотавенко, Чеховъ, Горькій и др. грозятъ имъ пальцемъ и удерживаютъ отъ послѣднихъ сужденій. Содержаніе рассказовъ «Гришка» настолько просто, что и пересказывать нечего; написаны рассказы настолько удачно — только, что и рассказывать это трудно. Прочтите и повѣрьте моему сужденію. Недавно встануть у васъ передъ глазами и шумѣть Федоръ Митяичъ, и его баба, Меланъ, а маленькій сынъ ихъ, Гришка, и дядя Ларонъ, добродушный, кѣсѣлый и смѣлый съ тѣмъ обстоятельствомъ. Недавно почувствуете

Жизнь и искусство. Киев.

1896. Июнь. № 189.

C.2.

те на, что весь этот, как будто-бы обидно-грубый, оскорбительно-узкий, мир мужичьих интересов, взглядов и чувств, вся эта мужичья жизнь и мужичья психология настолько прочны, глубоки и содержательны, что вам, дитя высшей культуры, с развращенными нервами, с раздранной душой и с разнообразными точками зренья на каждый запрос жизни, вам, изъезженному сонными и сальогризеніем, станет завидно, станет жалко этой утраченной простоты и прочности жизненных основ, утраченного твердого знания того, что нужно, что должно. Вам становится ближе мужик, и лучшая половина вашего сердца забьется сочувствием к нему... И сколько тепла, сколько истинной любви и серьезности усмотрите вы под грубыми фюрнами мужичьего общегития! Одно движение, одно какое-нибудь слово — и сразу открывается предъ вами сложный мир мужичьей психологии, и вместо няного, грубого мужика вы уже видите предъ собой несчастного страдальца, все нутро которого изъедено угрызением совести и сознанием вины своей; вместо сварливой бабы, озлобленной до жестокосердия, до радости сорвать свою боль, свое горе на убитом горем муже, предъ вами встает любящая, чуткая, деликатная женщина, истинная жена своего мужа, хотя и придавленная скорбью, но способная понимать и цѣнить скорбь близкаго ей человека... Одетъ дѣльный, суровый мужик и по праздникам кое-когда выпивающій. Жена его, Целагея, — баба трудова, хозяйственная. Житѣ ихъ — извѣстное, мужичье: только и радости и покоя, что во снѣ да во хмѣлю. Но Целагея и сна нѣтъ: не даетъ крѣпко уснуть жалобный голосокъ изъ зыбки: десять разъ за ночь баюкая, корми... Подчасъ свою озлобленную нуждою и безпросвѣтлѣннѣмъ трудомъ душу она отводитъ на пьянотъ мужѣ съ такимъ усердіемъ и настойчивостію, что тотъ сначала терпѣть, терпѣть, останавливается, а потомъ, случается, и поберѣтъ: сердце не камень. Проникъ какъ-то Одетъ платокъ Целагея... Ужъ и костила-же она его: какъ смола пристала, корила, сранила... А Одету самому и безъ ея брани дотъ провалилось. Не вытерпѣлъ Одетъ, побилъ Целагею, наугадъ богообразною сценою побоевъ сынишку Грешку, любимца своего, а тотъ со страха и удри на улицу (дѣло нѣмой было) какъ былъ, въ одной рубашонкѣ, босикомъ... Черезъ два дня Грешка умеръ. Похоронили Грешку; возвратились съ кладбища въ нѣбу... Нѣтъ, тяжело нѣтъ портить послѣдніе страни рассказы... Возвратились въ нѣбу...

„И горюхъ былъ сильный безпорядокъ...

— Ты-бы прибавляла жалость, — тихо сказала Одетъ женѣ.

Та подчасъ, потѣла возмущеніемъ Анютку въ зыбку, но дѣвочка закрывала... Целагея влила се опять на руки и съ новою стала прибавлять копилку. Среди разнаго дѣлава ей всталась маленькая дѣтская рукавочка. Целагея подняла ее, повертѣла въ рукахъ, потомъ прислонилась къ окну и заплакала.

— Будетъ, Целагея... Сказано се поговѣ... Божья, нѣбу, нѣбу... — въ гондѣ пожену сказала Одетъ.

Целагея выпрямилась, посмотрѣла на нѣ и злобно сказала:

— Ты Грешку убилъ.

Одетъ испуганно замахалъ руками.

— Чего отпизиваться? — продолжила она. Ты убилъ, ты! Извергъ!

— Будетъ, будетъ, Целагея... Будетъ, испуганно и торопливо говорилъ Одетъ.

— Что—будетъ? Не ты, скажешь? Похмилости онъ босикомъ на улицу выбѣжалъ! По твоей? Не по твоей?.. — она подошла близко къ мужу, нагая передъ самымъ его лицомъ рукавичкой. Одетъ поднялъ руку, онъ хотѣлъ бить жену, хотѣлъ только отстранить ее, но ей показало, что онъ хотѣлъ ударить ее. Она отскотила, но сейчасъ же еще ближе подошла къ нему.

— Вей, вей! — взвизгнула она. — Вей! И жетъ в Анютку за одно спровадиль! Вей!

Одетъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ и отстилъ руку. Онъ кристально и съ ужасомъ вглядѣлся въ лицо жены, схватилъ шапку выбѣжалъ на улицу и... совѣсть неожиданно очутился въ кабацѣ.

Часа черезъ три онъ пришелъ домой. Онъ кривоносно, возвращаясь пьяный, онъ еще улицы начиналъ кричать и объяснять что-а тутъ зашелъ тихо, постоялъ на порогѣ добравшись до лавки, грузно утѣлся.

— Митревна, а Митревна! Гдѣ-же Грешку у насъ? — пьянымъ, жалобнымъ голосомъ спросилъ онъ.

Целагея повернулась къ нему, пристала вглядѣлась и подошла ближе.

— Вѣдь померъ—а? вѣдь померъ? И убилъ его! — безпомощно глядя на жену, продолжалъ Одетъ.

— Полно, полно, Одетъ Игнатьичъ! — крико сказала Целагея, снѣная у него съ голодомъ шапку.

— Нѣтъ! Ты мнѣ скажи: я убилъ его?

— Будетъ, будетъ, Одетъ Игнатьичъ! Рзоболокись лучше, да ложись, отдохни.

— Нѣтъ, ты постой! Кто его ни поре выгналъ—а? Я выгналъ! Я! А вѣдь онъ дѣлѣ, Митревна, дѣлѣ нѣтъ!.. Вѣдь нѣтъ за-го Богу отвѣчать! Не замолить нѣтъ грѣха ни го... окаянный я, окаянный!.. — Одетъ отстилъ голову на руки и зарыдалъ на асмы.

Целагея, — та Целагея, которая никогда не выпускала случая обругать пьянаго мужа; Целагея, которая нѣсколько часовъ назавѣтъ на обвиняла его въ убійствѣ сына, — эта Целагея теперь тихо и кротко успокаивала Одетъ попенному затѣвъ, прилегла на лавку не раздѣваясь, заснула.

Мнѣ нечего прибавлять къ этимъ страницамъ разетъ начало нѣтъ... Но вы сами прочтете, правда-ли?

Думаю еще поговорить о сѣмъ извѣстномъ законѣ, „Килманн“ г. В. Боричкина, о „мнѣ съ мезотимомъ“ г. Чесова и, въ концѣ концовъ, о лучшей, дѣйствительно художественной, нѣмѣ нѣтъ того, что прочтѣтъ о нѣмѣ журналовъ: объ страницѣ г. К. К. „Иль облачный день“; но прочтѣтъ: до нѣмѣго и скорого свидѣнія.

Читателю